

A detailed oil painting of an elderly man with dark hair, wearing round glasses and a brown leather jacket over a patterned sweater and a white shirt with a tie. The background is a textured, light-colored wall with some rust or staining. The man's expression is serious and contemplative.

Виктор Никитин

**Государство и
человек:
антропология
советского опыта**

Виктор Никитин

**Государство и человек:
антропология советского опыта**

«Автор»

2026

Никитин В. Е.

Государство и человек: антропология советского опыта /
В. Е. Никитин — «Автор», 2026

Очерк посвящён феномену Homo Sovieticus как исторически сформированному типу сознания, возникшему в условиях советской системы. Рассматриваются ключевые черты: коллективизм вместо индивидуальной ответственности, патернализм по отношению к государству, трудовая двойственность, дефицит как экономическая норма и раздвоение между публичной лояльностью и частным скепсисом. Показано, как эти установки формировались и почему их влияние сохраняется в постсоветском обществе до сих пор.

© Никитин В. Е., 2026

© Автор, 2026

Виктор Никитин

Государство и человек: антропология советского опыта

Понятие *Homo Sovieticus* появилось не как научный термин в строгом смысле, а как культурная формула — одновременно ироничная, критическая и в какой-то степени публицистическая. Им пытались описать не просто гражданина СССР, а особый тип человека, сформированный внутри конкретной исторической системы: с её институтами, ограничениями, идеологией, бытом и долгим опытом жизни в условиях централизованного государства. Но чем чаще этот термин используется, тем яснее становится его расплывчатость. За ним нет единого психологического портрета, скорее — набор устойчивых поведенческих привычек, реакций и ожиданий, которые проявлялись в массовом масштабе.

Само словосочетание *Homo Sovieticus* возникло в интеллектуальной и публицистической среде позднего СССР и эмиграции, где требовалось как-то обозначить разрыв между «новым человеком», которого декларировала идеология, и реальным человеком повседневности. Советская власть на ранних этапах действительно ставила перед собой амбициозную задачу — сформировать нового субъекта истории, свободного от «пережитков прошлого»: религиозности, частнособственнического мышления, сословных различий, индивидуализма в буржуазном смысле. Этот проект предполагал не только изменение экономики и политики, но и перестройку самого способа мышления.

Однако историческая реальность оказалась сложнее любой идеологической схемы. Человек, который жил в СССР, формировался на пересечении нескольких слоёв: дореволюционного культурного наследия, крестьянской традиции, индустриальной модернизации, военного опыта, массового образования и идеологического давления. В результате возник не «новый человек» в чистом виде, а гибридная конструкция, в которой старые модели поведения не исчезали, а переупаковывались и адаптировались к новым условиям.

Если попытаться описать *Homo Sovieticus* вне идеологических оценок, то это прежде всего человек, живущий внутри системы, где ключевые ресурсы и жизненные траектории в значительной степени распределяются централизованно. Это означает, что его повседневный опыт формируется не через рынок свободного выбора и конкуренции в привычном западном смысле, а через институты распределения: государство, предприятие, партийные структуры, очереди, нормы, планы. В такой системе меняется сама логика принятия решений: важным становится не столько индивидуальная инициатива, сколько умение ориентироваться в правилах и исключениях системы.

Отсюда вырастает целый ряд характерных поведенческих стратегий. Одна из них — адаптивность, иногда переходящая в форму осторожного приспособления. Когда формальные правила не всегда совпадают с реальной практикой, человек учится различать «как должно быть» и «как есть на самом деле». Это разделение становится частью повседневного мышления и пронизывает самые разные сферы жизни — от работы до общения с государственными институтами.

Другая важная черта, которую часто связывают с этим понятием, — специфическое отношение к ответственности и инициативе. В системе, где многие ключевые решения принимаются на более высоком уровне, индивидуальная ответственность за результат может ощущаться как ограниченная или частично внешняя. Это не означает её исчезновения, но меняет её структуру: человек чаще действует в рамках заданных условий, чем как автономный субъект, полностью контролирующий результат. Со временем это может формировать ожидание, что значимые изменения должны приходить извне — от начальства, государства, «системы».

Однако было бы упрощением сводить Homo Sovieticus к образу пассивного или зависимого человека. Советская реальность включала в себя и мощные практики самоорганизации, выживания, неформальных сетей и повседневной изобретательности. Дефицит, бюрократические ограничения и жёсткость системы часто компенсировались личными связями, взаимопомощью и умением обходить формальные барьеры. В этом смысле советский человек был одновременно встроен в систему и частично существовал «рядом с ней», создавая параллельные механизмы адаптации.

Ещё один важный элемент — коллективная форма социальной жизни. Школа, завод, армия, институт, партийная или профсоюзная организация становились не просто местами работы или учёбы, а средой формирования идентичности. Человек существовал внутри коллектива и через него получал признание, оценку и социальную легитимацию. Это усиливало значимость общественного мнения и снижало роль индивидуальной автономии как открытой ценности, по крайней мере в публичной сфере.

Со временем все эти элементы сформировали устойчивый культурный слой, который продолжил существовать и после распада СССР, пусть и в изменённой форме. Именно поэтому интерес к понятию Homo Sovieticus не ограничивается историей одного государства. Оно используется как попытка описать более глубокий феномен — инерцию социальных привычек, которые переживают политические системы и продолжают влиять на поведение людей спустя десятилетия.

В этом очерке речь пойдёт не о мифологизированном «советском человеке» как карикатуре, и не о попытке вынести ему окончательный диагноз. Скорее — о реконструкции набора условий, которые сделали возможным формирование определённого типа мышления и поведения. И о том, почему следы этой системы координат продолжают проявляться даже тогда, когда сама система уже перестала существовать.

* * *

Перемена такого масштаба, как трансформация ментальности целой страны за несколько десятилетий, почти всегда выглядит более цельной и «резкой» на расстоянии, чем она была в реальности. Внутри процесса люди продолжают жить повседневной жизнью, приспособляться, наследовать старые привычки и одновременно усваивать новые нормы. Но в случае России XX века действительно можно говорить о сильном и системном переломе, который затронул не просто политические институты, а саму структуру повседневного мышления, представления о норме, авторитете, труде, справедливости и даже о частной жизни.

Дореволюционная Россия была сложной и неоднородной. В ней сосуществовали разные уклады: крестьянская община с её коллективной ответственностью и традиционными нормами; городское купечество с прагматичной логикой выгоды и репутации; дворянская культура с ориентацией на государственную службу, статус и европейские образцы; духовенство, задававшее моральный и ритуальный каркас жизни. Образ «страны купцов, священников и крестьян» в упрощённом виде отражает именно это сосуществование разных миров, где личность почти всегда была встроена в устойчивую социальную структуру. Человек не мыслил себя автономным «индивидом» в современном смысле: он был сыном, членом общины, прихожанином, подданным. Его идентичность задавалась прежде всего принадлежностью, а не выбором.

Революция 1917 года и последующее построение советской системы разрушили многие из этих связей. Причём важно понимать: разрушение было не только институциональным (ликвидация сословий, церкви как общественной силы, частной собственности в прежнем виде), но и символическим. Старые источники легитимности — вера, традиция, наследование статуса — были заменены новой системой оправдания социальной реальности. На их место пришла идеология исторической необходимости, классового подхода и коллективного будущего, в котором личная судьба должна была быть подчинена «большому проекту».

Именно здесь начинает формироваться то, что позже получит условное название «советский человек». Это не одномоментное явление и не единый тип личности, а скорее набор устойчивых психологических и поведенческих установок, которые постепенно становились нормой. Важнейшим из них была переориентация с частного на общее — по крайней мере на уровне декларируемых ценностей. Государство стало не просто политической структурой, а главным организатором жизни: оно распределяло труд, жильё, образование, определяло карьерные траектории и задавало рамки допустимого.

Одним из ключевых сдвигов стало изменение отношения к индивидуальной инициативе. В дореволюционной логике (особенно в городских слоях) успех часто связывался с личным предпринимательством, ремеслом, торговлей, накоплением капитала и семейной преемственностью дела. В советской системе эта модель была вытеснена или радикально ограничена. На её место пришла система, в которой продвижение по социальной лестнице зависело не от рынка, а от институциональной лояльности, образования и включённости в государственные структуры. Это сформировало особую психологию: ориентацию на правила, инструкции, вертикаль власти и посредников, принимающих решения.

Параллельно с этим усилилось значение коллективов как базовой единицы социальной жизни. Завод, школа, армия, институт, партийная или профсоюзная организация становились не просто местом работы или учёбы, а средой формирования идентичности. Человек существовал «внутри коллектива» и через него получал оценку своих действий. Отсюда — важность общественного мнения, репутации внутри группы, а также привычка соотносить своё поведение с ожиданиями окружающих, а не только с личными предпочтениями.

При этом советская система не уничтожила полностью старые культурные коды. Напротив, она часто их переработала и переупаковала. Например, традиционная установка на терпение, выносливость и способность «пережить трудные времена» оказалась вполне совместимой с реалиями индустриализации, войн и послевоенного восстановления. То же самое можно сказать о патерналистской модели ожиданий от власти: государство воспринималось как главный субъект, который «должен» обеспечить, защитить и направить, а гражданин — как тот, кто подчиняется и одновременно рассчитывает на заботу сверху.

В результате «советский человек» оказался гибридной конструкцией: с одной стороны, он был продуктом модернизации — урбанизации, массового образования, индустриального труда; с другой — носителем глубоко укоренённых исторических привычек, трансформированных, но не исчезнувших. Поэтому говорить о полном разрыве с дореволюционным прошлым было бы упрощением. Скорее, произошла масштабная перекомпоновка: одни элементы были подавлены, другие усилены, третьи переосмыслены в новой идеологической рамке.

Именно эта сложная смесь и стала основой того, что позднее воспринималось как «менталитет советского человека» — сочетание коллективизма и адаптивности, ориентации на государство и одновременно бытовой изобретательности, официальной идеологии и параллельной повседневной реальности.

* * *

Переход от «я» к «мы» в советской культуре был не просто идеологическим лозунгом, а реальным механизмом перестройки социальных отношений, повседневной ответственности и способов принятия решений. Однако, если рассматривать этот процесс внимательно, он выглядит не как полное уничтожение индивидуальности, а как её перераспределение и частичное вытеснение в пользу коллективных форм существования, которые государство сделало основными и институционально закреплёнными.

Дореволюционная крестьянская Россия действительно строилась вокруг общины, но эта община не была полностью растворяющей индивидуальное начало системой. Крестьянский мир регулировал важные аспекты жизни — землю, налоги, взаимопомощь, круговую поруку, — однако внутри этого мира сохранялась высокая степень хозяйственной самостоятельности.

У крестьянина было своё хозяйство, свой инвентарь, своя ответственность за результат труда. Он мог быть ограничен традицией и коллективными решениями, но он оставался непосредственным субъектом производства. Ошибка или успех в значительной степени ощущались как личные последствия, даже если разделялись с семьёй или общиной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.